



АНТОН ЧЕХОВ



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дама с собачкой

Рассказы и повести

Чеховские рассказы как один большой роман, где нет сквозных действующих лиц, но есть единство интриги и авторского отношения, есть разные судьбы, есть леса, уезды, города, помещичьи усадьбы, реки, деревни, железные дороги, есть рождения, любви и смерти.

альпина
ПРОЗА

ПОЛКА

Антон Павлович Чехов
Дама с собачкой.
Рассказы и повести
Серия «Главные книги русской
литературы (Альпина)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71635327

*Дама с собачкой. Рассказы и повести: Альпина Паблицер; Москва;
2025*

ISBN 9785006303584

Аннотация

Чеховские рассказы как один большой роман, где нет сквозных действующих лиц, но есть единство интриги и авторского отношения, есть разные судьбы, есть леса, уезды, города, помещицы усадьбы, реки, деревни, железные дороги, есть рождения, любви и смерти.

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес: На деревню дедушке. Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Для кого

Для всех любителей классической русской литературы и для старших школьников.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Предисловие «Полки» | 11 |
| Жизнь в вопросах и восклицаниях | 68 |
| Детвора | 72 |
| Гриша | 72 |
| Кухарка женится | 77 |
| Детвора | 85 |
| Ванька | 93 |
| Мальчики | 99 |
| Дома | 109 |
| Тайный советник | 123 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 127 |

Антон Чехов

Дама с собачкой.

Рассказы и повести

Знак информационной продукции (Федеральный закон
№ 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)



Текст печатается по изданию: Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т. 2–10. – М.: Наука, 1983–1986.

Главный редактор: *Сергей Турко*

Руководитель проекта: *Елена Кунина*

Корректоры: *Мария Прянишникова-Перепелюк, Анна Кондратова*

Верстальщик: *Александр Абрамов*

Художественное оформление и макет: *Юрий Буга*

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в лич-

ных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Сухих И., предисловие, 2025

© ООО «Альпина Паблицер», 2025

* * *

Антон Чехов

Дама с собачкой

Рассказы и повести

ПОЛКА

альпина
ПРОЗА

Москва, 2025





АНТОН ЧЕХОВ. 1901 г.¹

с

¹ Антон Чехов. 1901 г. © Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля.

Предисловие «Полки»

Чеховские рассказы как один большой роман, где нет сквозных действующих лиц, но есть разные судьбы многих семейств, есть леса, уезды, города, помещичьи усадьбы, реки, деревни, железные дороги, есть рождения, любви и смерти, есть единство интриги и идеи и авторского отношения.

Игорь Сухих



ГДЕ ИСКАТЬ ЧЕХОВСКИЙ РОМАН

Начало 1880-х годов, когда Чехов дебютировал как писатель, было эпохой романа. Литературные вкусы по-прежнему определяли Достоевский, Тургенев, Гончаров, Толстой. Роман с продолжением (оригинальный или переводной) был главным блюдом толстых русских журналов, предметом исключительного интереса публики и критики.

В 1884 году Чехов сочиняет и публикует огромную «Драму на охоте», свою самую большую беллетристическую вещь, по объему не уступающую «Отцам и детям» или «Обыкновенной истории». Этот жанровый *роман-фельетон*, ничем не отличимый от повести, был одной из многочисленных проб пера Антоши Чехонте, о которой Чехов позднее не вспомнил ни разу.

Но в конце десятилетия Чехов наконец задумывает «настоящий» роман.

Хочется писать роман, есть чудесный сюжет, временами охватывает страстное желание сесть и приняться за него, но не хватает, по-видимому, сил. <...> Ведь если роман выйдет плох, то дело мое навсегда проиграно! <...> Те мысли, женщины, мужчины, картины природы, которые скопились у меня для романа, останутся целы и невредимы. Я не растрянжирую их на мелочи и обещаю Вам это. Роман

захватывает у меня несколько семейств и весь уезд с лесами, реками, паромами, железной дорогой. В центре уезда две главные фигуры, мужская и женская, около которых группируются другие шатки. Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет; я меняю его ежемесячно, а потому придется ограничиться только описанием, как мои герои любят, женятся, рождают, умирают и как говорят».

(Д. В. Григоровичу, 9 октября 1888 года. П. 3, 17)²

Чуть позднее Чехов будет рассказывать уже о непосредственной работе и даже раскроет тайну заглавия. «Я пишу роман!! Пишу, пишу, и конца не видать моему писанью. <...> Очертил уже ясно девять физиономий. Какая интрига! Назвал я его так: “Рассказы из жизни моих друзей”, и пишу его в форме отдельных, законченных рассказов, тесно связанных общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие. Не думайте, что роман будет состоять из клочьев. Нет, он будет настоящий роман, целое тело, где каждое лицо будет органически необходимо» (А. С. Суворину, 11 марта 1889 года. П. 3, 177–178).

² Здесь и далее чеховские произведения цитируются по изданию: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – М.: Наука, 1974–1983. Серия писем обозначается «П.», указываются через запятую том и страница.



Чехов в квартире В. А. Фаусека. Ялта, конец 1890-х – начало 1900-х гг.³

От этого замысла ничего, кроме заглавия и – предположительно – нескольких фрагментов («После театра», «У Зелениных», «Письмо»), не осталось⁴.

Исследователь, долго и специально занимавшийся про-

³ Чехов в квартире В. А. Фаусека. Ялта, конец 1890-х – начало 1900-х гг. Legion-Media.

⁴ См.: Медриш Д. Н. Незавершенный роман А. П. Чехова // Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1980. С. 216–228. См. также: 7, 718–724.

блемой, утверждает: «Если собрать все предположения, догадки и домыслы исследователей, то окажется, что едва ли не любое произведение этого периода попадало под подозрение, а не осколок ли это несостоявшегося романа?»⁵

Коллективное подозрение можно превратить в конструктивную гипотезу.

Чеховский роман не был написан, но все-таки он – *есть*. «Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер», – заметил один из чеховских наследников⁶.

Эта мысль, конечно, не универсальна. Она относится к рассказчикам (новеллистам) особого типа. В отличие от сборника, который может быть сформирован по любому принципу, малый жанр приобретает романное качество за счет тематического, мотивного и пространственно-временного *единства мира*, а также единства точки зрения, *единства поэтики*. В этом смысле мир Бабеля или Зощенко неоднороден, а мир Шукшина или, скажем, Юрия Казакова однороден и хорошо описывается определением *роман рассказчика*.

Конспект такого романа у Чехова можно обнаружить уже в мелочишке «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (1882): на трех страничках перед нами, как в кинематографе, проносится вся человеческая жизнь, разделенная на традицион-

⁵ Там же. С. 290.

⁶ Шукшин В. М. Вопросы самому себе. – М.: Молодая гвардия, 1981. С. 249.

ные периоды («Детство» – «Отрочество» – «Юношество» – «Между 20 и 30 годами» – «Между 30–50 годами» – «Старость») – от первого крика до последнего вздоха и похорон. Подсказками, которые структурируют этот мозаичный роман, становятся и чеховские тематические сборники («Детвора», «Пестрые рассказы», «Хмурые люди»), застающие чеховского человека на разных этапах осмысления собственной судьбы.

На время забыв о хронологической последовательности, всю чеховскую прозу можно прочесть как роман «Рассказы из жизни моих друзей» – повествование с необратимым сюжетом, где при отсутствии сквозных действующих лиц есть единство интриги и идеи, есть разные судьбы многих семейств, есть леса, уезды, города, помещицы усадьбы, реки, деревни, железные дороги, есть рождения, любви и смерти... И, наконец, есть единство органического авторского отношения к предмету – чему нисколько не помешало отсутствие политического, религиозного и философского мировоззрения. Более универсальной, объемной картины русская литература рубежа веков не создала.

Место действия, хронотоп этого романа, как уже не раз отмечалось, – русский город. «Все большие и малые события жизни, все случайности и происшествия, вообще все, что происходит в сюжете Чехова, происходит в русском городе, в его дачных окрестностях, посадах, монастырях: действие отдельных рассказов и повестей может быть перене-

сено на юг или север, до крайних границ реальной России, не теряя, однако, связи с центральным образом – городом, из которого персонажи (или повествователь) уезжают, куда они возвращаются, о котором они думают или говорят. Город – объединяющий центр сложной художественной структуры... Образ города у Чехова – эволюционирующий, непрерывно формирующийся образ, структура которого сохраняется при всех жанровых вариациях чеховской прозы, от ранней до поздней поры»⁷.

Соответственно, главным героем чеховской прозы становится «“среднее сословие”, интеллигент, человек свободных профессий, горожанин, – будь то чиновник на жаловании, конторщик, бухгалтер, кассир частного банка, ремесленник, заводской рабочий, газетный сотрудник, технолог, инженер, архитектор»⁸ (так Короленко когда-то перечислял персонажей, отсутствующих в деревенском мире Толстого).

«Рассказы из жизни моих друзей» – *городской роман*, но разительно непохожий на петербургскую прозу, петербургский текст. Чехова отделяет от этой традиции как хронология, так и поэтика.

«Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX века в мельчайших подробно-

⁷ Громов М. П. Повествование Чехова как художественная система // Современные проблемы литературоведения и языкознания. – М.: Наука, 1974. С. 309.

⁸ Короленко В. Г. О литературе. – М.: Гос. изд-во худ. лит., 1957. С. 131–132.

стях», – предсказывал чеховский современник⁹.



Музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове¹⁰

А когда она действительно исчезла, другой писатель увеличил масштаб сравнения: «“Беспристрастным свидетелем” прошел он через конец XIX и начало XX века, и для изуче-

⁹ Мережковский Д. С. Чехов и Горький // А. П. Чехов. Pro et contra. Творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX – начала XX в. (1887–1910) / Сост. И. Н. Сухих. – СПб.: РХГИ, 2002. С. 697.

¹⁰ Музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове. Shutterstock.

ния русской жизни в эту эпоху все написанное Чеховым – такой документ, как летопись Нестора – для изучения начала Руси»¹¹.

Но начинается эту русскую сагу литератор со странной фамилией-кличкой Антоша Чехонте.

КАК ПИСАЛ ЧЕХОВ

В записной книжке Чехова сохранилась притча из «Заметок о жизни» Альфонса Доде: «Почему твои песни так кратки? – спросили раз птицу. – Или у тебя не хватает дыхания?» – «У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все» (17, 67).

Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью. Петербургские «Осколки» и другие журнальчики, с которыми он сотрудничал, публиковали «мелочишки» в две–четыре страницы. Дополнительные странички, как и право сочинить что-то без сугубой насмешливости, приходилось выпрашивать у редактора как особой милости. Но когда нужда в формальных ограничениях исчезла (уже в середине восьмидесятых Алексей Суворин в «Новом времени» берет у Чехова что угодно и сколько угодно – так, в 1891 году в одиннадцати номерах газеты больше месяца печатается повесть «Дуэль»), изначальная привычка пи-

¹¹ Замятин Е. И. Чехов // Замятин Е. И. Сочинения. Т. 4. – Мюнхен: Найманис, 1988. С. 160.

сать кратко осталась и даже стала предметом особой гордости. «Умею коротко говорить о длинных предметах» (Е. М. Линтваревой, 23 ноября 1888 года. П. 3, 76).



Антон Чехов со своей таксой Хиной на крыльце дома в Мелихове. 1897 г.¹²

«Коротко говорить о длинных предметах» позволяла прежде всего *деталь* (потом ее стали привычно называть чеховской). Она заменяла подробные, развернутые романские описания штрихом, намеком, по которому внимательный читатель мог (и должен был) восстановить целое.

«По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер *à propos*¹³. Общие места вроде: “Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом” и проч. “Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали” – такие общие места надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатила шаром черная тень собаки или волка и т. д.» (II. 1, 242), – наставляет Чехов старшего брата Александра. Эту деталь он использует в рассказе «Волк», а потом, еще раз сократив, подарит в «Чайке» писателю Тригорину.

¹² Антон Чехов со своей таксой Хиной на крыльце дома в Мелихове. 1897 г. Legion-Media.

¹³ кстати (*фр.*).

Тот же принцип краткости и точности применяется к изображению человеческой психологии. В повести «Скучная история» нам позволено прочесть в письме одного из героев лишь «кусочек какого-то слова “страстн...”». И за этим кусочком (конечно, соотношенным с развитием фабулы) встает драматическая история его трепетно-неразделенной любви.

«Чехов совершил переворот в области формы. Он открыл великую силу недосказанного. Силу, заключающуюся в простых словах, в краткости»¹⁴.

В наследство от Антоши Чехонте Чехов взял и другое: внимание к сиюминутности, интерес к разным сторонам человеческой жизни. Чеховские тексты необычайно информативны: дамские моды и дачные радости, профессорские лекции и каторжные работы, газетные объявления и церковные службы, свадьбы, погребальные обряды, громкие судебные процессы – что только не отразилось в этих рассказах и коротких повестях, тоже недлинных.

Круг затронутых тем и предметов, а значит, и соответствующих жанров, кажется поначалу необъятным. Чехов занял бы, вероятно, если бы захотел, место «жанриста», создателя увлекательных фабульных произведений, с юмором, приключениями, броскими типами-клише, – место, так и оставшееся в русской литературе XIX века вакантным.

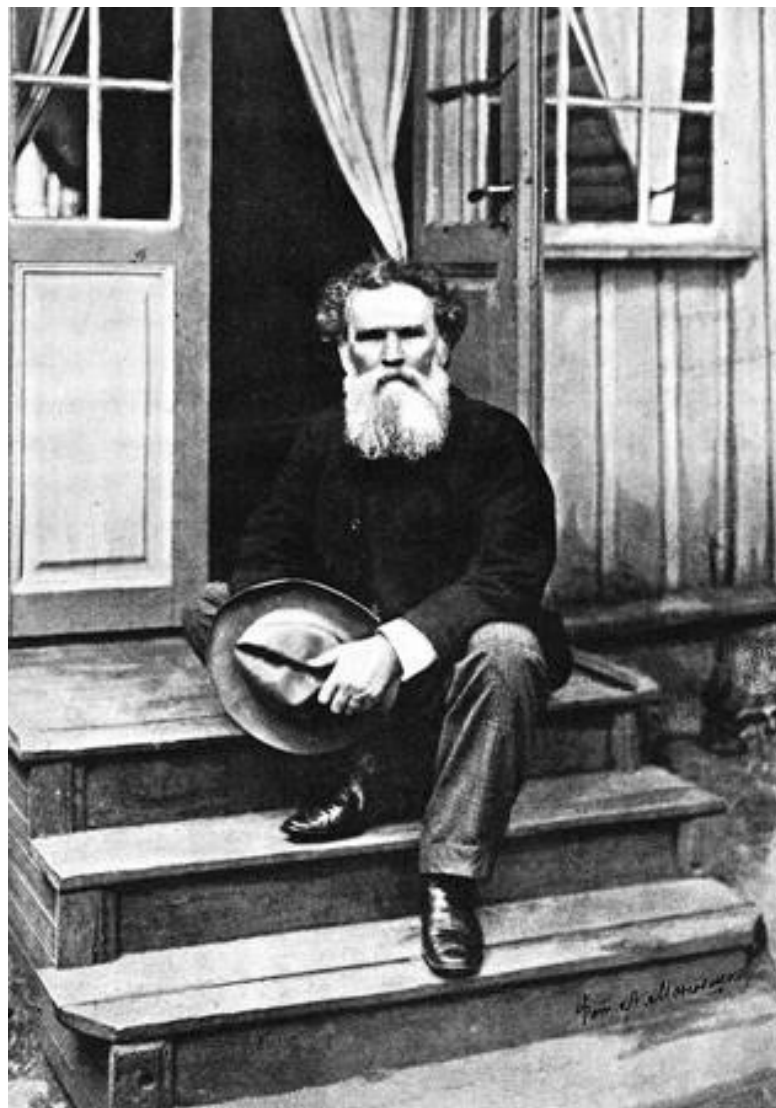
¹⁴ Трифионов Ю. Правда и красота (1959) // Трифионов Ю. Как слово наше зовется. – М.: Советская Россия, 1985. С. 23.

Но, публикуя все это, писатель еще в восьмидесятые годы делает выбор, сознательно отсекая, отбрасывая все эффектное, броское, экзотическое.

«— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. — услышит от него пришедший познакомиться Короленко. — Вот. — Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал:

— Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие “Пепельница”. И глаза его засветились весельем»¹⁵.

¹⁵ А. П. Чехов в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1986. С. 139.



Это услышал от него пришедший познакомиться Короленко.

Лет через пятнадцать более молодой собеседник, чеховский знакомец уже ялтинских времен, Александр Куприн, вспомнит нечто похожее. «Он требовал от писателей обыкновенных, житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленац. “Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все”»¹⁷.

Два типа фабулы, две эстетические тенденции, две, если угодно, литературы воспроизведены Чеховым виртуозно. Роман приключений (нечто в духе Жюль Верна, которого Чехов специально пародировал еще в 1882 году), разбавленный философией – не покорять полюс спешит герой, а искать примирения с людьми – и сдобренный обязательной любовной интригой, подвергается экзекуции смехом. Ему противопоставляется простая-простая история о Петре Семеновиче и Марье Ивановне, Пете и Маше.

¹⁶ В. Г. Короленко. 1910 г. Legion-Media.

¹⁷ Там же. С. 505.

Такова сверхкраткая формула чеховского рассказа и повести: обычный, ничем не примечательный человек в обыденных обстоятельствах, «реализм простейшего случая» (Григорий Бялый).

«Вот меня часто упрекают – даже Толстой упрекал, – что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников... А где их взять? Я бы и рад! – Он грустно усмехнулся. – Жизнь у нас провинциальная, города немощенные, деревни бедные, народ поношенный... Все мы в молодости восторженно чирикаем, как воробьи на дерьме, а к сорока годам – уже старики и начинаем думать о смерти... Какие мы герои!»¹⁸

Чеховская жизнь легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без войны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений. Нормальная жизнь, уклонившаяся от нормы: «Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас» (А. Н. Плещееву, 9 апреля 1889 года; *П.* 3, 186).

Если в ней и происходят дуэли, то кончаются примирением. Если и убивают, то не патологические злодеи или философы-экспериментаторы (как у Достоевского), а случайные заблудшие души или бабы-приобретательницы, избавляющиеся от возможных наследников.

«Сергеенко пишет трагедию из жизни Сократа. Эти упря-

¹⁸ Серебров А. (А. Н. Тихонов.) *Время и люди. Воспоминания. 1898–1905.* – М.: Гослитиздат, 1955. С. 225.

мые мужики всегда хватаются за великое, потому что не умеют творить малого, и имеют необыкновенные грандиозные претензии, потому что вовсе не имеют литературного вкуса, – иронизировал Чехов, узнав, что его таганрогский земляк и соученик по гимназии взялся за идейную драму. – Про Сократа легче писать, чем про барышню или кухарку» (А. С. Суворину, 2 января 1894 года. П. 5, 258).

Он сам мог писать и о Сократе – но поставив его в ту же ситуацию, что и кухарку.

Любого человека – монаха, нищего, чиновника, университетского профессора, институтку и «падшую женщину», ребенка и старика – Чехов испытывает общими обстоятельствами: богатством и нищетой, любовью и ненавистью близких, болезнью и смертью. Меняются имена, интерьеры и пейзажи, но постоянно воспроизводятся, повторяются ситуации, в которых оказывается (может оказаться) едва ли не каждый из нас. В кратких, «короче воробьиного носа», рассказах неспешно разворачивается извечная драма человеческой жизни – *скудная история*. Чеховский герой проходит предназначенный ему (автором и обстоятельствами) путь.

С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ «РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ МОИХ ДРУЗЕЙ»

Начало этой драмы – завязка чеховского «романа» – окрашено в светлые тона. Чехов не разделяет распространивших-

ся в XX веке представлений об изначальной порочности человеческой природы, о том, что большой зверь дремлет даже в маленькой душе. «Дети святы и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине», – напишет Чехов брату в 1889 году (П. 3, 121).



Дом-музей А. П. Чехова в Ялте¹⁹

Мир «детворы» (Чехов выпустил сборник под таким названием из шести рассказов, к нему примыкают еще два де-

¹⁹ Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Shutterstock.

сятка текстов) существует по особым законам: со своими цветами и красками, пространством и временем, событиями и проблемами, ценностями и мотивами поступков. «У него свое течение мыслей! – думал прокурор. – У него в голове свой мирок, и он по-своему знает, что важно и не важно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер» («Дома»).

В этом «мирке» копейка стоит дороже рубля, родная деревня одна на всей земле (и потому ее должен знать каждый ямщик), человек на рисунке должен быть выше дома, потому что иначе не увидишь его глаз, а любой звук имеет еще и цвет.

Чехов не упрощает и не сюсюкает. И в детских рассказах есть четко обозначенная социальная атмосфера. Конфликты рассказов «Детвора», «Кухарка женится», «Гриша», «Дома» не выходят за порог детской, связаны с существованием достаточно комфортным и обеспеченным. В этой жизни есть обиды и проблемы, даже трагедии (смерть матери, о которой упоминается в рассказе «Дома»), но в ней существуют кухня с прислугой, столовая и спальня, загадочный папин кабинет, репетиторы, гувернантки, швейцары, фонтаны на даче.

Персонажи «Ваньки», «Беглеца», «Спать хочется» живут в ином мире – холодном, неприветливом, скудном, жестоком, где хозяин «бьет чем попадя», где «скука такая, что и сказать нельзя», где, только попав в больницу, можно впер-

вые в жизни попробовать жареного мяса и принять за обновку серый больничный халат. Но и такие герои, с самого начала обделенные судьбой и происхождением, сохраняют способность радоваться и удивляться, и мир для них полон чудес и событий.

По Чехову, детское сознание обладает некоторыми стабильными чертами, независимо от того, в какой социальной среде существует герой. Взгляд ребенка «остраняет» и одушевляет привычный мир. Таким – звонким, ярким и праздничным – он был, наверное, в библейском Эдеме.

В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и теть, что не знаешь, к кому и подбежать. Но страннее и нелепее всего – лошади. Гриша глядит на ихдвигающиеся ноги и ничего не может понять <...> Вдруг он слышит страшный топот... По бульвару, мерно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными венками под мышкой. <...> Через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами...
(«Гриша»)

А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед

праздником помыли и потеряли снегом...

(«Ванька»)

Проникнуть в этот мир, в этот потерянный рай, который совсем рядом, можно лишь воспользовавшись его языком и ценностями – и никак иначе. «Это один из серьезнейших ваших рассказов, – писал Чехову И. И. Горбунов-Посадов по поводу рассказа “Дома”. – Встреча этих двух миров – детского чистого, человеческого и нашего спутанного, искалеченного, лицемерного – изображена в маленькой простенькой вещице превосходно» (П. 5, 479).



Действительно, в рассказе конфликт «детского» и «взрослого» миров подробно развернут и исследован. Какие только способы не использует прокурор, пытаясь решить «канальский» вопрос о вреде курения: и о карательных мерах вспоминает, и к привычному ему закону апеллирует. А добиться цели ему помогает лишь наспех сочиненная сказка об умершем от курения бедном царевиче, то есть разговор с «детским» миром на его собственном языке.

Дети платят за познание «взрослого» мира большую цену, впрочем – каждый свою. Гриша, впервые увидевший улицу и жизнь за пределами дома, получает вечером ложку касторки. Ванька восхищается чудесами московских лавок, но в его жизни есть только побои и беготня за водкой. Предельно трагический вариант – в рассказе «Спать хочется». И здесь мир изображен в восприятии маленькой героини – но ее жизнь так нечеловечески трудна, что он выцвел, потерял все цвета, кроме ненавистного зеленого, подернулся какой-то сонной паутиной.

Сутки Варьки проходят в бесконечной суете. Она укачивает ребенка, топит печь, чистит калоши, моет лестницу, убирает комнаты, бегает за водкой, чистит картошку. А в полусонном сознании мелькают какие-то призрачные видения: зеленые пятна и тени, до отчетливости резкие картины про-

²⁰ Антон Чехов в кабинете ялтинского дома, 1900. Legion-Media.

шлой, не менее тяжелой жизни – смерть отца, попрошайничество. Убийство чужого ребенка кажется ей спасением: наконец-то можно спать, спать, спать...

Примечательно, что хозяева Варьки даже не названы по имени. Они – лишь часть той неопределенной и страшной силы, «которая сковывает ее по рукам и ногам, давит ее и мешает ей жить», которую можно назвать порядком вещей.

Символична последняя фраза рассказа (она была добавлена Чеховым уже после первой публикации, при включении «Спать хочется» в сборник «Хмурые люди»): «Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...»

Жуткая, бессмысленная смерть и сон как смерть, как избавление – таковы две детские судьбы.

Но душа даже этой девочки – невинна. Ей только не повезло (судьба!), как Грише, сыну прокурора, героям «Детвторы» или «Мальчиков». «Взрослая» жизнь здесь дает страшные метастазы, прорастает в особый детский «мирок».

Но время идет, и каждому неизбежно придется покинуть, шагнуть за порог детской или деревенского дома в другую жизнь. Начинается новая глава чеховского романа.

КАК ЖИВУТ, О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ХМУРЫЕ ЛЮДИ

Чеховские «Детство» и «Юность» не продолжают в

дальнейшей жизни, а противостоят ей. Новая глава чеховского романа начинается словно с чистого листа.

«Не гувернер, а вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки – это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студенткам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры» (И. И. Орлову, 22 февраля 1899 года. П. 8, 101).

Каким протяженным, бесконечно богатым возможностями был еще недавно каждый день и каждый миг! А у докторов-дачевладельцев и несытых инженеров целые годы и десятилетия съезживаются, сжимаются до «сюжета для небольшого рассказа», до анекдота.

«Бездарный ученый, тупица, прослужил 24 года, не сделав ничего хорошего, дав миру десятки таких же бездарных узких ученых, как он сам. Тайно по ночам он переплетает книги – в этом его истинное призвание: здесь он артист и испытывает наслаждение. К нему ходит переплетчик, любитель учености. Тайно по ночам занимается наукой» (17, 40–41).

«Офицер у доктора. Деньги на блюде. Доктор видит в зеркало, как больной берет с блюдечка 25 р. и потом платит этими деньгами» (17, 65).

Характер чеховского смеха в «Пестрых рассказах» совсем

иной, чем в «Детворе»: от сочувственно-лирической улыбки происходит скачок к отстраненному, объективному комизму в разнообразных вариантах – от резкой сатиры до юмористической нелепицы.

Смешно, когда целая компания, как в сказке про теремок, усердно и безуспешно ловит налима («Который тут налим? Я его сичас...»). Весело, когда загадочная лошадиная фамилия оказывается в конце концов не «Лошадин» и не «Меринов», а «Овсов». А «Жалобная книга», «Унтер Пришибеев», «Хамелеон»? А совсем уже ни в какие ворота не лезущий «Роман с контрабасом»?

Чеховские типы, ситуации и словечки проросли в быт, стали элементами всеобщего культурного лексикона. Произнося «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», «если зайца бить, то он и спички зажигать научится», «в рассуждении чего бы покушать» – вовсе не обязательно помнить про Чехова.

«Если бы он даже ничего не написал, кроме “Скоропостижной конской смерти” или “Романа с контрабасом”, то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, у которых ум “по всем жилкам переливается”»²¹, – заметил Бунин.

Но «просто» юмористом Чехов никогда не был. В «пест-

²¹ Бунин И. А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. – М., 1988. С. 207.

рых рассказах» смех и слезы, анекдот и трагедия оказываются рядом, на соседних страницах. Таковы «Тоска» (поразительный двухстраничный шедевр о тотальном человеческом одиночестве) «Хористка», «Трагик».



Стоит человеку на мгновение остановиться, оглянуться, задуматься, попытаться посмотреть на себя со стороны – и он из анекдота проваливается в драму, становится «хмурым», оказывается «в сумерках».

«В сумерках» (1887) и «Хмурые люди» (1890) – заглавия чеховских сборников второй половины восьмидесятых годов. «“В сумерках” – тут аллегория: жизнь – сумрак, и читатель, купивший книгу, должен читать ее в сумерках, отдыхая от дневных работ», – иронически объяснял автор в характерном для переписки со старшим братом тоне (Ал. П. Чехову, между 26 мая и 3 июня 1887 года. П. 2, 90). Но и через десятилетие, строя планы собрания сочинений, он предполагает оставить эти заглавия для отдельных томов, третьего и пятого (А. С. Суворину, 27 октября 1898 года. П. 7, 314).

²² Портрет Ивана Бунина, 1909 год. Из коллекции Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля. Фотограф: Здобнов Д. С.



Сборники рассказов Чехова «Хмурые люди» и «В сумерках»²³

Откуда же эти хмурость и сумрак, о чем эта тоска?

Конфликт «Почты» (1887) напоминает рассказ «Дома»: в обоих случаях речь идет о поиске общего языка между разными людьми-мирами. Простодушный, еще не потерявший детской непосредственности студент (не выросший ли Сережа?) проводит несколько ночных часов с попутчиком-поч-

²³ Сборники рассказов Чехова «Хмурые люди» и «В сумерках». Дом-музей А. П. Чехова в Ялте.

тальяном.

У психологов есть понятие – «парадокс вагонного попутчика». В дороге легко устанавливаются контакты, малознакомым людям (может, потому что их никогда больше не увидишь?) обычно не просто охотно рассказывают о своей жизни, но, бывает, исповедуются, проговаривают то, на что не решаются в дружеском и домашнем кругу. На этом парадоксе строится рассказ «На пути» (1886), где русский скиталец рассказывает случайной знакомой на постоялом дворе всю свою жизнь. «Вот подите же, так мы с вами откровенно и по душам поговорили, как будто сто лет знакомы. Иной раз, доложу я вам, лет десять крепишься, молчишь, от друзей и жены скрытничаешь, а встретишь в вагоне кадета и всю ему душу выболтаешь. Вас я имею честь видеть только первый раз, а покаялся вам, как никогда не каялся. Отчего это?»

Но в «Почте» ситуация поворачивается иной стороной. Студент пробует разные ключики, чтобы расположить к себе молчаливого почтальона: начинает с формального разговора о погоде, потом пытается расспросить его о жизни, но получает в ответ отрывистые реплики, угрюмое молчание, наконец, непримиримую злобу.

«На кого он сердился? На людей, на нужду, на осенние ночи?» Вопросы так и остаются без ответа. Очевидно только то, что контакт не состоялся, что судьбы и жизненные пути этих людей соприкоснулись лишь внешне. Попутчики так и не стали друг для друга *лицами*.

«Кому поведем печаль мою, кого призову ко рыданию?» Иона, герой «Тоски» (1886), может поведать свою печаль только собственной лошаденке: люди в большом городе любезно-равнодушны, заняты своими делами, неспособны откликнуться на чужое горе.

В воспроизведении конфликтов, основанных на непонимании мотивов, поступков, поведения другого, даже самого близкого, человека, Чехов так же неисчерпаем, как и в комических сюжетах: взрослый – ребенок, мужчина – женщина, муж – жена, народ – интеллигенция, дворянство – интеллигенция, наконец, непонимание самого себя. Разлом между людьми возможен в любое мгновение, в каждой точке чеховского мира.

Есть такая метафора: говорить на разных языках. В «Новой даче» (1899) она реализуется с пугающей простотой и наглядностью. «Вы за добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об этом. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же монетою», – говорит инженер-дачник своим соседям-мужикам. А один из них, вернувшись домой, начнет жаловаться: «Платить надо. Платите, говорит, братцы, монетой...»

Через некоторое время, когда неприязнь между сторонами зайдет далеко, ситуация повторится, но с обратным знаком. «Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать», – раздраженно брзжит инженер. А тот же мужик Ро-

дион радостно передает дома: «Я, говорит, с женой тебя при-
зирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да сробел». А кончается все лицезрением бессмысленной пьяной драки, бегством интеллигентной семьи обратно в город, продажей дачи, трудными мыслями обручановских мужиков.

«В их деревне, думают они, народ хороший, смирный, разумный, Бога боится, и Елена Ивановна тоже смирная, добрая, кроткая, было так жалко глядеть на нее, но почему же они не ужились и разошлись, как враги? Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи и все эти мелочи, которые теперь при воспоминании кажутся таким вздором?»

Знакомые по «Почте» вопросы, которые и здесь остаются без ответа.

Итак, существует множество атомизированных, разобщенных хмурых людей, редко вспоминающих о своем детстве, погруженных в быт, тянущих лямку на почте, на железной дороге, в школе, в департаменте, в Москве, в Сибири, на Кавказе...

«Русская жизнь бьет русского человека так, что мокро-го места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. В Западной Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно... Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться...» – заметит Чехов как раз в год работы над романом (Д. В. Григоровичу, 5 февраля 1888 года. П. 2, 190).

Отсюда – оборонительная реакция страха. «Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. <...> Есть болезнь – боязнь пространства, так вот и я болен боязнью жизни» («Страх»).

Первый же шаг в преодолении страха – простое открытие многообразия, разноплановости бытия, открытие *другого*. В мире Чехова люди часто не подозревают друг о друге: жизнь и смерть, печаль и радость сосуществуют, не отменяя и не опровергая друг друга. Так, выяснение отношений между отцом и сыном в рассказе «Дома» предваряется неслучайным описанием: «Был девятый час вечера. Наверху, за потолком, во втором этаже кто-то ходил из угла в угол, а еще выше, на третьем этаже, четыре руки играли гаммы. Шаганье человека, который, судя по нервной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубной болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через две комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа».

В рассказе «В сарае» люди мирно играют в карты, поглядывая на дом напротив, где произошло самоубийство.

Сходный по функции и настроению эпизод есть в «Почте». Потерявший надежду на общение, студент «сонно и хмуро поглядел на завешенные окна усадьбы, мимо которой проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят

люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона; а если разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бок, улыбнется от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щеку, заснет еще крепче».

В «Счастье» мир будет увиден с иной, более высокой точки зрения и уже не героем, а самим повествователем. За спинами тоскующих, вздыхающих о прошлом людей возникнет второй план, потом третий – бесконечное пространство, *простор*, внушающий уже не страх, а надежду. «Солнце еще не вошло, но уже были видны все курганы и далекая, похожая на облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту Могилу, то с нее видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молочан, деревни, а дальнорский калмык увидит даже город и поезда железных дорог. Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей».

Бывают, впрочем, и во взрослой жизни чеховских героев ситуации, когда *другая жизнь* становится *твоей*.

ЛЮБОВЬ У ЧЕХОВА: ОБУЗА ИЛИ СПАСЕНИЕ?

В записных книжках Чехова дважды повторяется фрагмент (возможно, он стал бы мыслью одного из героев): «Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь» (17, 77).

Любовная тема – вечный хлеб литературы. В этом случае Чехов не стремится быть оригинальным: «Не нужно гоняться за избытком действующих лиц. Центром тяжести должны быть двое: он и она...» (Ал. П. Чехову, 10 мая 1886 года. *П. 1*, 242). Причем он пишет, как и положено современному Нестору, не об «остатке» и не о «части», а лишь о том, что происходит между двоими сегодня.

Пафос аналитического, психологического, реалистического романа заключается обычно в том, чтобы обосновать, объяснить все изображаемое. В том числе – и любовь.

Но, вспоминая предшествующую Чехову традицию, мы обнаруживаем любопытный парадокс. Подробно воссоздавая биографию и предысторию «его» и «ее», живописуя причины и следствия, препятствия и восторги, писатель неизбежно наталкивается на одно и то же: трудно, практически невозможно объяснить сам момент перехода от нелюбви

к любви.

«Пора пришла, она влюбилась. / Так в землю падшее зерно / Весны огнем оживлено» – так изображен решающий перелом в «Евгении Онегине». Дальше же начинаются подробности уже существующего чувства.

Вряд ли более успешен в решающих объяснениях и Л. Толстой с его изощреннейшим психологическим методом, «диалектикой души». И у него в конце концов появляется некое «вдруг», отменяющее дальнейшие объяснения. *Создать* героя оказывается легче, чем *понять* его.

Чехов, как правило, подчеркивает, акцентирует тайну человеческого выбора, связанную с каким-то неразложимым ядром личности. Именно потому финалы его произведений часто содержат не событийный итог, а лирический (здесь совпадает, сливается мысль героя и голос автора) безответный вопрос.

«Как зарождается любовь... все это неизвестно и обо всем этом можно толковать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что “тайна сия велика есть”, все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и остались неразрешенными» («О любви»).

«Ах, как она его любит!.. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает – почему?» («Душечка»).

Сначала сам писатель, а потом несколько его героев (в «Скучной истории», «О любви») повторяют одну и ту же формулу: *нужно индивидуализировать каждый отдельный случай*. В рассказах о любви Чехов предпочитает разнообразие вариантов однозначности объяснений.

Легкий флирт, за которым человек, кажется, и сам не заметил настоящее чувство: «А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил...» («Шуточка»). Томление юношеской плоти, кончающееся «падением» и самоубийством («Володя»). Еще одна вспышка внезапной страсти, ведущая к трагедии: «Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться?» («Шампанское»).

Но можно, оказывается, всю жизнь скрывать свое чувство, не поддаваться страсти, входить в положение – и тоже очнуться с ощущением потерянной жизни: «Целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что мешало нам любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не рассуждать вообще» («О любви»).

И еще одна внезапная поздняя любовь, создающая ситуацию, безболезненный выход из которой найти невозмож-

но: «И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается» («Дама с собачкой»). И еще одно внезапное расставание, когда герой непонятно почему, без видимых причин, отказывается от борьбы за свое счастье («Дом с мезонином»).

В этих частных случаях, чаще всего бесконечно грустных, намечается некая общая тенденция. Чувство горит полно и ярко, пока оно не имеет конкретного предмета. Задыхается от упоения, от радости жизни героиня рассказа «После театра», так и не решившая, кто любит ее и кого любит она: «Быть нелюбимой и несчастной – как это интересно!» Но оно гаснет, осложняется вечной рефлексией и привычным страхом, когда необходим какой-то решительный шаг, резкое движение.

В рассказе «Верочка», изображая «русского человека на randеву», Чехов, кажется, снимает все осложняющие обстоятельства: Огнев молод, свободен, тонок, поэтичен, увлечен героиней, к тому же она сама объясняется ему в любви. Казалось бы, «но тут позвольте мне жениться» (так кончалась в первой редакции «Шуточка»). Однако вместо этого Огнев испытывает «резкое, неприятное чувство неловкости», потом бормочет что-то невразумительное, злится на себя, раздражен на нее – и, кажется, успокаивает себя мыслями о бессилии души и ранней старости.

«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», – заметил Чехов в повести «Степь». «Иван Алексе-

вич Огнев помнит...» – начинается рассказ. Хотя о дальнейшей судьбе героя ничего не известно, возможно, воспоминание об этом вечере останется лучшим в его жизни, точно так же, как воспоминаниями о несбывшемся живет художник в «Доме с мезонином»: «А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся... Мисюсь, где ты?»

Вместо людей сталкиваются где-то в мировом эфире их смутные воспоминания. Праздник души кончается слишком быстро. «Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить» («Дом с мезонином»).



«Счастья нет и не должно быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом» («Крыжовник»). И это *если* смысла и цели тоже оказывается под вопросом.

ФИЛОСОФИЯ ИЛИ ПРОСТО ЖИЗНЬ?

Из положения, когда герой анекдота задумался, превратился в «хмурого человека», возможны два выхода: погружение в прежнее блаженно-бессмысленное состояние, убийство в себе рефлексии, ощущения жизни – или медленное, мучительное осознание себя, путь в поисках смысла и цели, однако без всякой уверенности в конечном успехе.

О первом варианте написаны «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник». Был Дмитрий Ионыч Старцев, симпатичный молодой земский доктор, со вкусом работал, пел, влюблялся, пусть и неудачно, ходил на свидание на кладбище, где (именно там!) впервые увидел красоту и почувствовал гармонию мира, «присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную». А превратился в свиноподобного Ионыча, «не человека, а языческого бога», стяжателя с хриплым голосом, любящего лишь кредитные бумажки и за-

²⁴ Антон Чехов у ялтинского дома. 1899–1900 гг. Legion-Media.

бывшего даже свои воспоминания («Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?»). «Вот и все, что можно сказать про него».

Или еще – была заветная мечта у скромного чиновника, «доброего, кроткого человека», он положил на ее осуществление десятилетия, пожертвовал даже собственной женой, а окончилось все блюдом кислого крыжовника: «Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась...» Поэтому, когда герой «Крыжовника» утверждает, что «счастья нет и не должно быть», он опасается прежде всего *такого* счастья.

Но параллельно в чеховском «романе» течет иной сюжет – сюжет преображения и обретения.

В «Дуэли» сталкиваются слабовольный, грешный, лживый, но обаятельный «плохой хороший человек» Лаевский, объявляющий себя наследником «лишних людей» («Для нашего брата-неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах»), – и деловитый, фанатичный, ученый и злой фон Корен, «новый человек», тоже играющий то ли в Базарова, то ли в Наполеона. Сталкиваются насмерть, доводя дело до уже полузабытой и ушедшей из культурного обихода дуэли («Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова?.. У Тургенева Базаров также стрелялся с кем-то там...»). Но в конце повести каждый из них делает шаг навстречу другому, возвышается над своими иллюзиями и заблуждениями. И это ощущение, что «спасения надо искать только в себе са-

мом», ведет к осторожному, стоическому оптимизму. «В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад, но жажда правды и упрямая воля гонят людей вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды...»

«Никто не знает настоящей правды», трижды прозвучавшее в финале «Дуэли», – перефразирование афоризма Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю». Он означает необходимость поиска, отказ от окончательности и догматизма любой веры, предпочтение правды конкретного человека разнообразным абстракциям, партийным, групповым, государственным.

Не менее важны для понимания «Дуэли» другие герои – доктор Самойленко и смешливый дьякон. В отличие от «теоретиков-идеологов», которые *ищут*, эти просто *живут*, но другим от них становится легче и теплее. Именно дьякон фактически спасает Лаевского (и душу фон Корена), прерывая так страшно начавшуюся дуэль. Именно Самойленко видит лучшее в них. В характерах обоих есть что-то просто-душно-детское. Но такими, пожалуй, нельзя стать, а можно лишь остаться.

Две жизненные философии сталкиваются и в «Моей жизни». «Все проходит» красивой Маши, грешной жены Мисаила Полознева, с ее сознанием свободы для самой себя, оказывается ее самооправданием. Неуступчивое «ничто не проходит» Мисаила снова подчеркивает значимость личного опы-

та и страдания, не свободы, а ответственности за свой выбор и за других людей.

Формально первое утверждение может показаться более истинным. Но человек должен жить с верой, что «ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни».

Есть в «Моей жизни» и свой добрый ангел: тайно и безнадежно влюбленная в Мисаила Анюта Благово. И еще один важный мотив появляется в финале: герой, как на последнюю надежду, опирается на руку – чужого – ребенка.

Еще один ребенок, взрослая Липа, потерявшая сына, подает милостыню человеку, в доме которого и по вине которого он погиб. В конце повести «В овраге» есть замечательная сцена, может быть, одна из самых потрясающих душу сцен в русской литературе. Возвращаясь из больницы с мертвым ребенком, посреди буйства и радости весенней природы, Липа встречает в поле неизвестных людей, простых мужиков, один из которых пожалел ее («взгляд его выражал сострадание и нежность»), произнес самые простые приличествующие случаю слова: «Ты мать, – сказал он. – Всякой матери свое дитя жалко».

И эта фраза и этот взгляд потрясают Липу.

«– Вы святые? – спросила Липа у старика.

– Нет. Мы из Фирсанова.

– Ты давече взглянул на меня, а сердце мое помягчило.

И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые».

Оказывается, если и есть на свете святые, то они живут в самом обычном Фирсанове. И святостью в глазах Липы оказываются вещи самые обычные и простые – доброта, жалость, внимание к ближнему.

«Святость» оказывается синонимом человеческой нормальности. А эта «норма» становится исчезающим исключением.

И все же она неистребима. В мире Чехова «искра Божья» вдруг сверкает в самых разных обстоятельствах, надежда возникает на самом краю безнадежности. «Твое горе с полгоря. Жизнь долгая – будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия!»

СМЕРТЬ: ЗАГАДКА ИЛИ ЖИЗНЕННЫЙ ЭПИЗОД?

Но и самая долгая жизнь когда-нибудь подходит к концу. Надеясь, мучаясь, радуясь, страдая то от многолюдства, то от одиночества, убегая и возвращаясь, чеховский человек (как и всякий человек вообще) приближается к своему последнему испытанию.

Есть писатели, замороженные темой смерти. «Если человек научился думать, – про что бы он ни думал, – он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А – какие же истины, если будет смерть?» – записал Горький слова Тол-

стого²⁵. Действительно, мысль и творчество великого жизнелюба постоянно вращались вокруг этого невидимого центра. «Три смерти», «Как умирают русские солдаты», «Смерть Ивана Ильича», «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», множество смертей в «Воине и мире», гибель главной героини в «Анне Карениной»...

Чехов относится к проблеме скорее не как философ, а как обычный человек. Он не бежит от горького знания, но *отдвигает* его, вполне согласно духу русской пословицы: «Умереть сегодня – страшно, а когда-нибудь – ничего».

Запись в дневнике Алексея Суворина, «несколько мыслей Чехова»: «Смерть – жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже этой цели не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать»²⁶.

Чехов-писатель и эту тему может разрабатывать в реги-

²⁵ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1978. Т. 2. С. 487.

²⁶ Дневник Алексея Сергеевича Суворина / Текст. расшифровка Н. А. Роскиной; подг. текста Д. Рейфилда и О. Е. Макаровой. – London: The Garnett press. М.: Независимая газета, 2000. С. 303.

стре смеха. За «Смерть чиновника» и подобные вещи писателя, бывало, упрекали (не кощунство ли это – насмешка над смертью?). Но дело в том, что в данном случае Чехов смеется над смертью не человека, но – чина («Мужчина состоит из мужа и чина»). Почти одновременно со смешной смертью он пишет и страшную смерть – в «Горе», «Тоске», «Рассказе без конца» и «Скуке жизни».

Не стоит забывать, что Чехов – врач, который не раз работал в прозекторской, лечил безнадежно больных, в молодости похоронил брата. Его взгляд на конец человеческой жизни прям и жёсток, лишен экзальтированной сентиментальности. «А разве есть такие яды, которые убивают в четверть часа, мало-помалу и без всякой боли? – спросил он у доктора, когда тот вскрывал череп» («Следователь»).

«У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, Бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь», – признается он А. С. Суворину (25 ноября 1892 года. *П.* 5, 133). И за год до собственной смерти так же спокойно повторит: «Я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего...» (С. П. Дягилеву, 12 июля 1903 года. *П.* 11, 234).

Такая позиция обозначает резкую грань между Чеховым и его великими современниками. Для Толстого, Достоевского с их нравственно-религиозными поисками существует некая

единая философия жизни и смерти, жизнестерти. Они все время пытаются заглянуть «за грань», разгадать загадку вечной жизни и бессмертия. «Куда он ушел? Где он теперь?..» – думает Наташа Ростова, стоя у тела только что умершего князя Андрея.

Загадки и тайны Чехова полностью «посюсторонни». Для него существует лишь проблема и философия жизни, об ином он говорить просто отказывается. Когда «за грань» пытается заглянуть чеховский ищущий герой, он видит там тот же самый привычный земной мир, но – без него.

Вот как представляет будущее знающий о своей смертельной болезни профессор в «Скучной истории»: «Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову, месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце, – и это в то время, когда я буду уж покрыт мхом».

Есть у Толстого очень важный для него рассказ-формула, рассказ-притча «Три смерти». В нем умирает, боясь смерти, мучая окружающих, богатая барыня; умирает спокойно, по-христиански, отдавая ближнему последние сапоги, одинокий ямщик; наконец, гибнет («вздогнуло всем телом») дерево, из которого сделают крест на ямщицкую могилу.

У Толстого с его моральным ригоризмом и беспощадностью эти три смерти иерархически, ценностно соотнесены: ложь, «мелкость» кончины барыни – мудрость и правда угасания мужика – бессознательная красота гибели дерева. Ду-

мая о вечном, Толстой тем не менее выстраивает четкую систему социальных и природных контрастов.

Свои «Три смерти» есть и у Чехова. Это рассказ «Гусев». «У моря нет ни смысла, ни жалости», – думает главный герой. Ни смысла, ни жалости нет здесь и у смерти. Умирает солдат Степан, о котором известно только то, что он играл в карты. Умирает «воплощенный протест» Павел Иванович, российский фанатик-правдолюбец. Умирает и Гусев, бывший мужик и солдат, абсолютно не понимающий интеллигентского языка Павла Ивановича и язычески считающий, что на краю света к стене цепями прикованы злые ветры.



Но эти смерти иерархически не соотносены. Они – никакой не урок и не аргумент. Смерть беспощадно уравнивает самых разных людей. «У смерти на глазах все равны. Смерть всех поравняет» – снова вспоминается народная мудрость.

И природа в финале этого рассказа предстает не аргументом, укором человеческой смерти, а *параллельным*, прекрасноравнодушным миром. Мысль о «полном равнодушии» природы «к жизни и смерти каждого из нас», в котором, может быть, «залог нашего вечного спасения», уже прямо сформулирована в конце «Дамы с собачкой».

Но Чехов-художник не равнодушен, а великодушен. Разным героям, не всегда выдержавшим испытание на человечность, он обычно дарует на пороге смерти мгновение истины, красоты, которое, правда, уже ничего не изменит.

В «Володе» уже после выстрела самоубийца увидит «покойного отца в цилиндре с широкой черной лентой». В «Палате № 6» мимо умирающего от апоплексического удара доктора Рагина пробежит «стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера». Магистр Коврин в «Черном монахе» в последние мгновения «звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою

²⁷ Антон Чехов и Лев Толстой, Гаспра, 12 сентября 1901 г. Государственный музей Л. Н. Толстого.

чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна». Преосвященному Петру в «Архиерее» представится, что он «идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!» (Борису Зайцеву казалось, что «шел он, конечно, просто к Богу», но Чехов не конкретизирует этот путь).

Но потом придут мужики, возьмут за руки и за ноги и отнесут в часовню, и на полу около лица натечет большая лужа крови, и вошедший келейник скажет, что преосвященный приказал долго жить. На мгновение силой художественного воображения остановленная жизнь снова пойдет своим чередом, без одного, без другого, без каждого.

И в ней даже не будет такого утешения, как «вечная память».

В раннем рассказе «На кладбище» мелькнул такой эпизод. «Насилу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утеряла образ могилы... Маленький дешевой крестик, повалившийся и поросший зеленым, почерневшим от холода мхом, смотрел старчески уныло и словно хворал. "...забвенному другу Мушкину" ... – прочли мы. Время стерло частицу *не* и исправило человеческую ложь».

В «Архиерее», почти через двадцать лет, деталь превратится в заключительный сюжетный мотив.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал.

А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женищинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...

И ей в самом деле не все верили.

Жизнь – смерть – забвение. Этот процесс неизбежен и распространяется на всех, его нельзя избежать, «хотя бы был Александром Македонским», и природа «равнодушна к жизни и смерти каждого из нас», – но все же что-то держит человека, не дает ему отчаяться, заставляет его «по мере сил исполнять свой долг – и больше ничего». Это «что-то» невозможно рационально определить, но оно объективно существует и принадлежит этой жизни. Каждое мгновение бытия должно быть наполнено смыслом, ибо каждое мгновение может оказаться последним.

Но все же заканчивает Чехов рассказом не о смерти, а о юности, о разрыве с прошлым и новых надеждах. Героине «Невесты» грезится впереди «жизнь новая, широкая, просторная... еще неясная, полная тайн». Уход Наденьки из родного дома кажется завязкой нового романа.

Однако давно уже замечена важная авторская оговорка в финале: «она... живая, веселая, покинула город, как полагала, навсегда». Она «полагала», но в действительности, видимо, окажется не так, героиня непременно вернется (но какой,

когда?) в такой опостылевший ей родной город.

Конец «Невесты» тем самым намекает на возвращение в привычный чеховский мир: «такие рассказы я уже писал, писал много раз».

Чехов вообще не очень доверяет беглецам и странникам. Главные его надежды обычно связаны не с теми, кто бежит и уходит, а с теми, кто остается. Может быть, поэтому лучшим своим рассказом он называл «Студента», еще одно повествование о начале жизни, о юности, связанное, однако, не с «сюжетом ухода», а с «сюжетом преобразования».

«Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: "...а то вот еще есть писатель Чехов: нытик..." А какой я нытик? Какой я "хмурый человек", какая я "холодная кровь", как называют меня критики? Какой я "пессимист"? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ – "Студент"...» (Воспоминания И. Бунина).

Рассказ этот действительно замечателен. Он похож на стихотворение в прозе, где в предельно сжатом, концентрированном виде повторяются ключевые мотивы чеховского творчества, его заветные идеи.

Встречаются на продуваемом ветром поле, в жуткий холод, у костра, накануне Пасхи, в Страстную пятницу молодой человек и старуха, будущий священник и простые крестьянки, мужички. Точно так же они могли сидеть у костра на неприветливой земле и сто, и тысячу лет назад, «и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре». И вдруг Иван

начинает рассказывать не о богочеловеке Иисусе, а о простом и грешном (апостолом он станет потом) Петре, «замученном тоской и тревогой», слабым и робком, который жалеет Христа и все же в страхе отрекается от него, и осознает свое предательство, и горько рыдает, бессильный что-либо изменить. И, тронутые этой старой и, конечно же, знакомой им историей, плачут женщины. И это вызывает радость в душе студента, ожидание «неведомого, таинственного счастья», ощущение высокого смысла жизни, ее «правды и красоты».

Вроде бы ничего не изменилось вокруг, но для Великопольского мир мгновенно становится другим. Чеховское воскресение – это короткое замыкание в цепи времен, вспышка правды и красоты в душе обыкновенного грешного человека, прежде чем она опять погрузится в будничную маету. Пусть это только мгновение, но все-таки оно было, и светом своим, воспоминанием о нем будет окрашивать долгие, трудные, мучительные годы.

О чем написан «Студент»? О молодости и старости. О предательстве и раскаянии. О смысле жизни и поисках его. О судьбе христианства. О связи прошлого и настоящего. Об истории. О России. Об общении душ. И все это на четырех неполных страницах...

Рассказ «Студент» можно считать эпитафией и эпилогом чеховского «романа». Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман...

Жизнь в вопросах и восклицаниях

Детство. Кого Бог дал, сына или дочь? Крестить скоро? Крупный мальчик! Не урони, мамка! Ах, ах! Упадет!! Зубки прорезались? Это у него золотуха? Возьмите у него кошку, а то она его оцарапает! Потяни дядю за ус! Так! Не плачь! Домовой идет! Он уже и ходить умеет! Унесите его отсюда – он невежлив! Что он вам наделал?! Бедный сюртук! Ну, ничего, мы высушим! Чернило опрокинул! Спи, пузырь! Он уже говорит! Ах, какая радость! А ну-ка, скажи что-нибудь! Чуть извозчики не задавили!! Прогнать няньку! Не стой на сквозном ветре! Постыдитесь, можно ли бить такого маленького? Не плачь! Дайте ему пряник!

Отрочество. Иди-ка сюда, я тебя высеку! Где это ты себе нос разбил? Не беспокой мамашу! Ты не маленький! Не подходи к столу, тебе после! Читай! Не знаешь? Пошел в угол! Единица! Не клади в карман гвоздей! Почему ты ма-маши не слушаешься? Ешь как следует! Не ковыряй в носу! Это ты ударил Митю? Пострел! Читай мне «Демьянову уху»! Как будет именительный падеж множественного числа? Сложи и вычти! Вон из класса! Без обеда! Спать пора! Уже девять часов! Он только при гостях шалит! Врешь! Причешись! Вон из-за стола! А ну-ка, покажи свои отметки! Уже порвал сапоги?! Стыдно реветь такому большому! Где это ты мундир запачкал? На вас не напасешься! Опять

единица? Когда, наконец, я перестану тебя пороть? Если ты будешь курить, то я тебя из дома выгоню! Как будет превосходная степень от *facilis*²⁸? *Facilissimus*? Врете! Кто это вино выпил? Дети, обезьяну на двор привели! За что вы моего сына на второй год оставили? Бабушка пришла!

Юношество. Тебе еще рано водку пить! Скажите о последовательности времен! Рано, рано, молодой человек! В ваши лета я еще ничего такого не знал! Ты еще боишься при отце курить? Ах, какой срам! Тебе кланялась Ниночка! Возьмемте Юлия Цезаря! Здесь *ut consecutivum*? Ах, душка! Оставьте, барин, а то я... папеньке скажу! Ну, ну... шельма! Bravo, у меня уже усы растут! Где? Это ты нарисовал, а не растут! У Nadine прелестный подбородок! Вы в каком теперь классе? Согласитесь же, папа, что мне нельзя не иметь карманных денег! Наташа? Знаю! Я был у нее! Так это ты? Ах ты, скромник! Дайте покурить! О, если б ты знал, как я ее люблю! Она божество! Кончу курс в гимназии и женюсь на ней! Не ваше дело, татап! Посвящаю вам свои стихи! Оставь покурить! Я пьянею уже после трех рюмок! *Bis! bis!* Браааво! Неужели ты не читал Борна? Не косинус, а синус! Где тангенс? У Соньки плохие ноги! Можно поцеловать? Выпьем? Ураааа, кончил курс! Запишите за мной! Займите четвертную! Я женюсь, отец! Но я дал слово! Ты где ночевал?

Между 20 и 30 годами. Займите мне сто рублей! Какой факультет? Мне всё одно! Почем лекция? Дешево, однако!

²⁸ легкий (*лат.*).

В Стрельну и обратно! Бис, бис! Сколько я вам должен? Завтра придете! Что сегодня в театре? О, если бы вы знали, как я вас люблю! Да или нет? Да? О, моя прелесть! В шею! Челаэк! Вы херес пьете? Марья, дай-ка огуречного рассольцу! Редактор дома? У меня нет таланта? Странно! Чем же я жить буду? Займите пять рублей! В Salon! Господа, светает! Я ее бросил! Займите фрак! Желтого в угол! Я и так уже пьян! Умираю, доктор! Займи на лекарство! Чуть не умер! Я похудел? К Яру, что ли? Стоит того! Дайте же работы! Пожалуйста! Эээ... да вы лентяй! Можно ли так опаздывать? Суть не в деньгах! Нет-с, в деньгах! Стреляюсь!! Шабаш! Черт с ним, со всем! Прощай, паскудная жизнь! Впрочем... нет! Это ты, Лиза? Песнь моя уже спета, тапан! Я уже отжил свое! Дайте мне место, дядя! Ma tante²⁹, карета подана! Merci, mon oncle!³⁰ Не правда ли, я изменился, mon oncle? Пересобачился? Ха-ха! Напишите эту бумагу! Жениться? Никогда! Она – увы! – замужем! Ваше превосходительство! Представь меня своей бабушке, Серж! Вы очаровательны, княжна! Стары? Полноте! Вы напрашиваетесь на комплименты! Позвольте мне кресло во второй ряд!

Между 30–50 годами. Сорвалось! Есть вакансия? Девять без козырей! Семь червей! Вам сдавать, votre excellence³¹. Вы ужасны, доктор! У меня ожирение печени? Чушь!

²⁹ Тетя (фр.).

³⁰ Благодарю, дядя! (фр.)

³¹ ваше превосходительство (фр.).

Как много берут эти доктора! А сколько за ней приданого? Теперь не любите, со временем полюбите! С законным браком! Не могу я, душа моя, не играть! Катар желудка? Сына или дочь? Весь в отца! Хе-хе-хе... не знал-с! Выиграл, душа моя! Опять, черт возьми, проиграл! Сына или дочь? Весь в... отца! Уверяю тебя, что я ее не знаю! Перестань ревновать! Едем, Фани! Браслет? Шампанского! С чином! Мерси! Что нужно делать, чтобы похудеть? Я лыс?! Не зудите, теща! Сына или дочь? Я пьян, Каролинхен! Дай я тебя поцелую, немочка! Опять этот каналья у жены! Сколько у вас детей? Помогите бедному человеку! Какая у вас дочь миленькая! В газетах, дьяволы, пропечатали! Иди, я тебя высеку, скверный мальчишка! Это ты измял мой парик?

Старость. Едем на воды? Выходи за него, дочь моя! Глуп? Полно! Плохо пляшет, но ноги прелестны! Сто рублей за... поцелуй?! Ах, ты, чертенок! Хе-хе-хе! Рябчика хочешь, девочка? Ты, сын, того... безнравствен! Вы забываетесь, молодой человек! Пст! пст! пст! Люблю музыку! Шям... Шям... панского! «Шута» читаешь? Хе-хе-хе! Внушатам конфеток несу! Сын мой хорош, но я был лучше! Где ты, то время? Я и тебя, Эммочка, в завещании не забыл! Ишь я какой! Папашка, дай часы! Водянка? Неужели? Царство Небесное! Родня плачет? А к ней идет траур! От него пахнет! Мир праху твоему, честный труженик!

Детвора

Гриша

Гриша, маленький, пухлый мальчик, родившийся два года и восемь месяцев тому назад, гуляет с нянькой по бульвару. На нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапка с мохнатой пуговкой и теплые калоши. Ему душно и жарко, а тут еще разгулявшееся апрельское солнце бьет прямо в глаза и щиплет веки.

Вся его неуклюжая, робко, неуверенно шагающая фигура выражает крайнее недоумение.

До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу стоит его кровать, в другом – нянькин сундук, в третьем – стул, а в четвертом – горит лампадка. Если взглянуть под кровать, то увидишь куклу с отломанной рукой и барабан, а за нянькиным сундуком очень много разных вещей: катушки от ниток, бумажки, коробка без крышки и сломанный паяц. В этом мире, кроме няни и Гриши, часто бывают мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста. Из мира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай. Тут стоит Гришин стул на высоких ножках и висят часы, существующие для того только, что-

бы махать маятником и звонить. Из столовой можно пройти в комнату, где стоят красные кресла. Тут на ковре темнеет пятно, за которое Грише до сих пор грозят пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускают и где мелькает папа – личность в высшей степени загадочная! Няня и мама понятны: они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа – неизвестно. Еще есть другая загадочная личность – это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было...

В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и тет, что не знаешь, к кому и подбежать. Но страннее и нелепее всего – лошади. Гриша глядит на ихдвигающиеся ноги и ничего не может понять. Глядит на няньку, чтобы та разрешила его недоумение, но та молчит.

Вдруг он слышит страшный топот... По бульвару, мерно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными вениками под мышкой. Гриша весь холодеет от ужаса и глядит вопросительно на няньку: не опасно ли? Но нянька не бежит и не плачет, значит, не опасно. Гриша провожает глазами солдат и сам начинает шагать им в такт.

Через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами. Гриша думает, что и ему тоже нужно бежать, и бе-

жит за кошками.

– Стой! – кричит ему нянька, грубо хватая его за плечи. – Куда ты? Нешто тебе велено шалить?

Вот какая-то няня сидит и держит маленькое корыто с апельсинами. Гриша проходит мимо нее и молча берет себе один апельсин.

– Это ты зачем же? – кричит его спутница, хлопая его по руке и вырывая апельсин. – Дурак!

Теперь Гриша с удовольствием бы поднял стеклышко, которое валяется под ногами и сверкает, как лампадка, но он боится, что его опять ударят по руке.

– Мое вам почтение! – слышит вдруг Гриша почти над самым ухом чей-то громкий, густой голос и видит высокого человека со светлыми пуговицами.

К великому его удовольствию, этот человек подает няньке руку, останавливается с ней и начинает разговаривать. Блеск солнца, шум экипажей, лошади, светлые пуговицы, всё это так поразительно ново и не страшно, что душа Гриши наполняется чувством наслаждения и он начинает хохотать.

– Пойдем! Пойдем! – кричит он человеку со светлыми пуговицами, дергая его за фалду.

– Куда пойдем? – спрашивает человек.

– Пойдем! – настаивает Гриша.

Ему хочется сказать, что недурно бы также прихватить с собой папу, маму и кошку, но язык говорит совсем не то, что нужно.

Немного погодя нянька сворачивает с бульвара и вводит Гришу в большой двор, где есть еще снег. И человек со светлыми пуговицами тоже идет за ними. Минуют старательно снеговые глыбы и лужи, потом по грязной, темной лестнице входят в комнату. Тут много дыма, пахнет жарким и какая-то женщина стоит около печки и жарит котлеты. Кухарка и нянька целуются и вместе с человеком садятся на скамью и начинают говорить тихо. Грише, окутанному, становится невыносимо жарко и душно.

«Отчего бы это?» – думает он, оглядываясь.

Видит он темный потолок, ухват с двумя рогами, печку, которая глядит большим, черным дуплом...

– Ма-а-ма! – тянет он.

– Ну, ну, ну! – кричит нянька. – Подождешь!

Кухарка ставит на стол бутылку, три рюмки и пирог. Две женщины и человек со светлыми пуговицами чокаются и пьют по нескольку раз, и человек обнимает то няньку, то кухарку. И потом все трое начинают тихо петь.

Гриша тянется к пирогу, и ему дают кусочек. Он ест и глядит, как пьет нянька... Ему тоже хочется выпить.

– Дай! Няня, дай! – просит он.

Кухарка дает ему отхлебнуть из своей рюмки. Он таращит глаза, морщится, кашляет и долго потом машет руками, а кухарка глядит на него и смеется.

Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме, стенам и кровати, где он был и что видел. Говорит он не

столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка...

Вечером он никак не может уснуть. Солдаты с вениками, большие кошки, лошади, стеклышко, корыто с апельсинами, светлые пуговицы, – всё это собралось в кучу и давит его мозг. Он ворочается с боку на бок, болтает и в конце концов, не вынося своего возбуждения, начинает плакать.

– А у тебя жар! – говорит мама, касаясь ладонью его лба. – Отчего бы это могло случиться?

– Печка! – плачет Гриша. – Пошла отсюда, печка!

– Вероятно, покушал лишнее... – решает мама.

И Гриша, распираемый впечатлениями новой, только что изведанной жизни, получает от мамы ложку касторки.

Кухарка женится

Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, необыкновенное, доселе невиданное. За кухонным столом, на котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой, плотный мужик в извозничьем кафтане, рыжий, бородатый, с большой каплей пота на носу. Он держал на пяти пальцах правой руки блюдечко ипил чай, причем так громко кусал сахар, что Гришину спину подирал мороз. Против него на грязном табурете сидела старуха нянька Аксинья Степановна и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и в то же время сияло каким-то торжеством. Кухарка Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ее лице Гриша видел целую иллюминацию: оно горело и переливалось всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончая смертельно-бледным. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за ножи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но в сущности ничего не делала. На стол, за которым пили чай, она ни разу не взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая лица.

– Кушайте, Данило Семеныч! – угощала нянька извозчика. – Да что вы всё чай да чай? Вы бы водочки выкушали!

И нянька придвигала к гостю сороковушку и рюмку, причем лицо ее принимало ехиднейшее выражение.

– Не потребляю-с... нет-с... – отнекивался извозчик. – Не невольте, Аксинья Степановна.

– Какой же вы... Извозчики, а не пьете... Холостому человеку невозможно, чтоб не пить. Выкушайте!

Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение: нет, мол, не поймаешь, старая ведьма!

– Не пью-с, увольте-с... При нашем деле не годится это малодушество. Мастеровой человек может пить, потому он на одном месте сидит, наш же брат завсегда на виду в публичке. Не так ли-с? Пойдешь в кабак, а тут лошадь ушла; напьешься ежели – еще хуже: того и гляди, уснешь или с козел свалишься. Дело такое.

– А вы сколько в день выручаете, Данило Семеныч?

– Какой день. В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз так и без гроша ко двору поедешь. Дни разные бывают-с. Нониче наше дело совсем ничего не стоит. Извозчиков, сами знаете, хоть пруд пруди, сено дорогое, а седок пустяковый, норовит всё на конке проехать. А всё ж, благодарить Бога, не на что жалиться. И сыты, и одеты, и... можем даже другого кого осчастливить... (извозчик покосился на Пелагею)... ежели им по сердцу.

Что дальше говорилось, Гриша не слышал. Подошла к двери мамаша и послала его в детскую учиться.

– Ступай учиться. Не твое дело тут слушать!

Придя к себе в детскую, Гриша положил перед собой «Родное слово», но ему не читалось. Все только что виденное и слышанное вызвало в его голове массу вопросов.

«Кухарка женится... – думал он. – Странно. Не понимаю, зачем это жениться? Мамаша женилась на папаше, кузина Верочка – на Павле Андреиче. Но на папе и Павле Андреиче, так и быть уж, можно жениться: у них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычищенные; но жениться на этом страшном извозчике с красным носом, в валенках... фи! И почему это няньке хочется, чтоб бедная Пелагея женилась?»

Когда из кухни ушел гость, Пелагея явилась в комнаты и занялась уборкой. Волнение еще не оставило ее. Лицо ее было красно и словно испуганно. Она едва касалась веником пола и по пяти раз мела каждый угол. Долго она не выходила из той комнаты, где сидела мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество и ей хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь впечатлениями, излить душу.

– Ушел! – проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора.

– А он, заметно, хороший человек, – сказала мамаша, не отрывая глаз от вышиванья. – Трезвый такой, степенный.

– Ей-богу, барыня, не выйду! – крикнула вдруг Пелагея, вся вспыхнув. – Ей-богу, не выйду!

– Ты не дури, не маленькая. Это шаг серьезный, нужно

обдумать хорошенько, а так, зря, нечего кричать. Он тебе нравится?

– Выдумываете, барыня! – застыдилась Пелагея. – Такое скажут, что... ей-богу...

«Сказала бы: не нравится!» – подумал Гриша.

– Какая ты, однако, ломака... Нравится?

– Да он, барыня, старый! Гы-ы!

– Выдумывай еще! – окрысилась на Пелагею из другой комнаты нянька. – Сорока годов еще не исполнилось. Да на что тебе молодой? С лица, дура, воды не пить... Выходи, вот и все!

– Ей-богу, не выйду! – взвизгнула Пелагея.

– Блажишь! Какого лешего тебе еще нужно? Другая бы в ножки поклонилась, а ты – не выйду! Тебе бы все с почтальонами да лепетиторами перемигиваться! К Гришеньке лепетитор ходит, барыня, так она об него все свои глазищи обмозолила. У, бесстыжая!

– Ты этого Данилу раньше видала? – спросила барыня Пелагею.

– Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу. Аксинья откуда-то привела... черта окаянного... И откуда он взялся на мою голову!

За обедом, когда Пелагея подавала кушанья, все обедающие засматривали ей в лицо и дразнили ее извозчиком. Она страшно краснела и принужденно хихикала.

«Должно быть, совестно жениться... – думал Гриша. –

Ужасно совестно!»

Все кушанья были пересолены, из недожаренных цыплят сочилась кровь и, в довершение всего, во время обеда из рук Пелагеи сыпались тарелки и ножи, как с похилившейся полки, но никто не сказал ей ни слова упрека, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папаша с сердцем швырнул салфетку и сказал мамаше:

– Что у тебя за охота всех женить да замуж выдавать! Какое тебе дело? Пусть сами женятся, как хотят.

После обеда в кухне замелькали соседские кухарки и горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье. Откуда они прониюхали о сватовстве – Бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка. Нянька убеждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши после этого, Гриша видел во сне похищение Пелагеи Черномором и ведьмой...

С другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не было. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно-суровое выражение и уходила куда-то часа на два, очевидно, для переговоров... Пелагея с извозчиком не выдалась, и когда ей напоминали о нем, она вспыхивала и кричала:

– Да будь он трижды проклят, чтоб я о нем думала! Тьфу!

Однажды вечером в кухню, когда там Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:

– Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дело, но, Пелагея, знай, что он не может здесь жить... Ты знаешь, я не люблю, если кто в кухне сидит. Смотри же, помни... И тебя я не буду отпускать на ночь.

– И Бог знает что выдумываете, барыня! – взвизгнула кухарка. – Да что вы меня им попрекаете? Пушай он сбесится! Вот еще навязался на мою голову, чтоб ему...

Заглянув в одно воскресное утро в кухню, Гриша замер от удивления. Кухня битком была набита народом. Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городских, унтер с нашивками, мальчик Филька... Этот Филька обыкновенно трется около прачешной и играет с собаками, теперь же он был причесан, умыт и держал икону в фольговой ризе. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове. Рядом с нею стоял извозчик. Оба молодые были красны, потны и усиленно моргали глазами.

– Ну-с... кажись, время... – начал унтер после долгого молчания.

Пелагея заморгала всем лицом и заревела... Унтер взял со стола большой хлеб, стал рядом с нянькой и начал благословлять. Извозчик подошел к унтеру, бухнул перед ним поклон и чмокнул его в руку. То же самое сделал он и перед Аксиньей. Пелагея машинально следовала за ним и тоже бухала поклоны. Наконец отворилась наружная дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика с шумом двинулась из кухни на двор.

«Бедная, бедная! – думал Гриша, прислушиваясь к рыданиям кухарки. – Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?»

После венца до самого вечера в прачешной пели и играли на гармонике. Мамаша все время сердилась, что от няньки пахнет водкой и что из-за этих свадеб некому поставить самовар. Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась.

«Бедная, плачет теперь где-нибудь в потемках! – думал он. – А извозчик на нее: цыц! цыц!»

На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик. Он поблагодарил мамашу и, взглянув сурово на Пелагею, сказал:

– Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте заместо отца-матери. И вы тоже, Аксинья Степанна, не оставьте, посматривайте, чтоб все благородно... без шалостей... А также, барыня, дозвольте рубликов пять в счет ейного жалованья. Хомут надо купить новый.

Опять задача для Гриши: жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг ни с того ни с сего явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность! Грише стало горько. Ему страшно, до слез захотелось приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия. Выбрав в кладовой самое большое яблоко, он прокрался на кухню, сунул его в руку Пелагее и опрометью бросился назад.

Детвора

Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать; но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрывки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка – копейка. Условие: если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить, а старший брат, Вася, ученик V класса, лежит в гостиной на диване и скучает.

Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький, девятилетний мальчик с догола остриженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном клас-

се, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть покойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватается за деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка шести лет, с кудрявой головкой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать – и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стеклышек и копеек.

Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди, стоит неподвижно и мечтательно смотрит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию: сколько на этом свете разных цифр, и как это они не перепутаются!

Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел, практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь у игроков называется кочергой, одиннадцать – палочками, семьдесят семь – Семен Семенычем, девяносто – дедушкой и т. д. Игра идет бойко.

– Тридцать два! – кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. – Семнадцать! Кочерга! Двадцать восемь – сено косим!

Аня видит, что Андрей прозевал 28. В другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюде вместе с копеечкой лежит ее самолюбие, она торжествует.

– Двадцать три! – продолжает Гриша. – Семен Семеныч! Девять!

– Прусак, прусак! – вскрикивает Соня, указывая на прусака, бегущего через стол. – Ай!

– Не бей его, – говорит басом Алеша. – У него, может

быть, есть дети...

Соня провожает глазами прусака и думает о его детях: какие это, должно быть, маленькие прусачата!

– Сорок три! Один! – продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны. – Шесть!

– Партия! У меня партия! – кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча.

У партнеров вытягиваются физиономии.

– Проверить! – говорит Гриша, с ненавистью глядя на Сою.

На правах большого и самого умного, Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Сою, и, к величайшему сожалению ее партнеров, оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия.

– А что я вчера видела! – говорит Аня как бы про себя. – Филипп Филиппыч заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа.

– Я тоже видел, – говорит Гриша. – Восемь! А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит:

– И я умею ушами шевелить...

– А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех.

– Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, – вздыхает

Соня. – Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке... И мне стало так неприлично!

– Партия! – вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. – У меня партия! Проверяйте, если хотите!

Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет.

– Мне, значит, уж больше нельзя играть, – шепчет он.

– Почему?

– Потому что... потому что у меня больше денег нет.

– Без денег нельзя! – говорит Гриша.

Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусанного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет...

– Я за тебя поставлю! – говорит Соня, не вынося его мученического взгляда. – Только смотри, отдашь после.

Деньги вносятся, и игра продолжается.

– Кажется, где-то звонят, – говорит Аня, делая большие глаза.

Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы.

– Это слышалось.

– Ночью только на кладбище звонят... – говорит Андрей.

– А зачем там звонят?

– Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся.

– А для чего разбойникам в церковь забираться? – спра-

шивает Соня.

– Известно для чего: сторожей поубивать!

Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей.

– Он смошенничал, – басит ни с того ни с сего Алеша.

– Врешь, я не смошенничал!

Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу по голове! Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, – хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив: недоразумение было!

В столовую входит Вася, ученик V класса. Вид у него заspanный, разочарованный.

«Это возмутительно! – думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. – Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать. Возмутительно!»

Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоседиться к ним и попытать счастья.

– Погодите, и я сяду играть, – говорит он.

– Ставь копейку!

– Сейчас, – говорит он, роясь в карманах. – У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль.

– Нет, нет, нет... копейку ставь!

– Дураки вы. Ведь рубль во всяком случае дороже копейки, – объясняет гимназист. – Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст.

– Нет, пожалуйста! Уходи!

Ученик V класса пожимает плечами и идет в кухню взять услужливые мелочи. В кухне не оказывается ни копейки.

– В таком случае разменяй мне, – пристает он к Грише, придя из кухни. – Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну продай мне за рубль десять копеек.

Гриша подозрительно косится на Васю: не подвох ли это какой-нибудь, не жульничество ли?

– Не хочу, – говорит он, держась за карман.

Вася начинает выходить из себя, бранится, называя игроков болванами и чугунными мозгами.

– Вася, да я за тебя поставлю! – говорит Соня. – Садись!

Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа.

– Копейку уронил! – заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. – Постойте!

Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стучаются головами,

но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках.

Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру.

– Соня спит! – заявляет Алеша.

Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку.

– Поди, на мамину постель ложись! – говорит Аня, увводя ее из столовой. – Иди!

Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно при-
мостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечи, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою

колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьон, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьон необыкновенно почителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливаясь веселым смехом и кричит:

– Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьон же из почительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инеем, сугробы.

Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потеряли снегом...

Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать:

«А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал их-него ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай Божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто

смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а по-мрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пускают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченный орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крикал, и мороз крикал, а глядя на них, и Ванька крикал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возмись, по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может чтоб не крикнуть:

– Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спроводили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А наемдни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропавшая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в

рубаше выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящичков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

1886

Мальчики

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую. – Ах, Боже мой!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

– А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи Боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я не отец, что ли?

– Гав! Гав! – ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел,

Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

– Володичка, а это же кто? – спросила шепотом мать.

– Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса... Я привез его с собой погостить у нас.

– Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука... Пожалуйста! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи Боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и всё еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

– Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. – А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожая? Ан ты и приехал... Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша – самой старшей

из них было одиннадцать лет, – сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

– А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и ба-

хрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбежала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

– Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

– Господи Боже мой, даже ножниц не дают! – отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

– Сначала в Пермь... – тихо говорил Чечевицын... – оттуда в Тюмень... потом Томск... потом... потом... в Камчатку... Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив... Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.

– А Калифорния? – спросил Володя.

– Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание мож-

но охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

– Вы читали Майн-Рида?

– Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

– А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

– А что это такое?

– Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

– Господин Чечевицын.

– Нет. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом

на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

– А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, – все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю – «бледнолицый брат мой».

– Ты смотри же, не говори маме, – сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. – Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматри-

вал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

– Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчишки будут бежать в Америку. Подкрались к двери.

– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?

– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.

– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

– Я... я не струсил, а мне... мне маму жалко.

– Ты говори: поедешь или нет?

– Я поеду, только... только погоди. Мне хочется дома пожить.

– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

– Так ты не поедешь? – еще раз спросил Чечевицын.

– По... поеду.

– Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

– Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда сажались ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в

деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай Бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?

– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла сво-

его сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигомо Ястребиный Коготь».

1887

Дома

– Приходили от Григорьевых за какой-то книгой, но я сказала, что вас нет дома. Почтальон принес газеты и два письма. Кстати, Евгений Петрович, я просила бы вас обратить ваше внимание на Сережу. Сегодня и третьего дня я заметила, что он курит. Когда я стала его усовещивать, то он, по обыкновению, заткнул уши и громко запел, чтобы заглушить мой голос.

Евгений Петрович Быковский, прокурор окружного суда, только что вернувшийся из заседания и снимавший у себя в кабинете перчатки, поглядел на докладывавшую ему гувернантку и засмеялся.

– Сережа курит... – пожал он плечами. – Воображаю себе этого карапуза с папиросой! Да ему сколько лет?

– Семь лет. Вам кажется это несерьезным, но в его годы курение составляет вредную и дурную привычку, а дурные привычки следует искоренять в самом начале.

– Совершенно верно. А где он берет табак?

– У вас в столе.

– Да? В таком случае пришлите его ко мне.

По уходе гувернантки Быковский сел в кресло перед письменным столом, закрыл глаза и стал думать. Он рисовал в воображении своего Сережу почему-то с громадной, аршинной папироской, в облаках табачного дыма, и эта карикату-

ра заставляла его улыбаться; в то же время серьезное, озабоченное лицо гувернантки вызвало в нем воспоминания о давно прошедшем, наполовину забытом времени, когда курение в школе и в детской внушало педагогам и родителям странный, не совсем понятный ужас. То был именно ужас. Ребят безжалостно пороли, исключали из гимназии, коверкали им жизни, хотя ни один из педагогов и отцов не знал, в чем именно заключается вред и преступность курения. Даже очень умные люди не затруднялись воевать с пороком, которого не понимали. Евгений Петрович вспомнил своего директора гимназии, очень образованного и добродушного старика, который так пугался, когда заставлял гимназиста с папироской, что бледнел, немедленно собирал экстренный педагогический совет и приговаривал виновного к исключению. Уж таков, вероятно, закон общежития: чем непонятнее зло, тем ожесточеннее и грубее борются с ним.

Вспомнил прокурор двух-трех исключенных, их последующую жизнь и не мог не подумывать о том, что наказание очень часто приносит гораздо больше зла, чем само преступление. Живой организм обладает способностью быстро приспособляться, привыкать и приноживаться к какой угодно атмосфере, иначе человек должен был бы каждую минуту чувствовать, какую неразумную подкладку нередко имеет его разумная деятельность и как еще мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по результатам деятельности, как педагогическая, юридическая, ли-

тературная...

И подобные мысли, легкие и расплывчатые, какие приходят только в утомленный, отдыхающий мозг, стали бродить в голове Евгения Петровича; являются они неизвестно откуда и зачем, недолго остаются в голове и, кажется, ползают по поверхности мозга, не заходя далеко вглубь. Для людей, обязанных по целым часам и даже дням думать казенно, в одном направлении, такие вольные, домашние мысли составляют своего рода комфорт, приятное удобство.

Был девятый час вечера. Наверху, за потолком, во втором этаже кто-то ходил из угла в угол, а еще выше, на третьем этаже, четыре руки играли гаммы. Шаганье человека, который, судя по нервной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубною болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через две комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа.

– Па-па приехал! – запел мальчик. – Папа при-е-хал! Па! па! па!

– *Votre père vous appelle, allez vite!*³² – крикнула гувернантка, пискнув, как испуганная птица. – Вам говорят!

«Что же я ему, однако, скажу?» – подумал Евгений Петрович.

Но прежде чем он успел надумать что-либо, в кабинет уже входил его сын Сережа, мальчик семи лет. Это был чело-

³² Ваш отец вас зовет, идите скорее! (*фр.*)

век, в котором только по одежде и можно было угадать его пол: тщедушный, белолицый, хрупкий... Он был вял телом, как парниковый овощ, и все у него казалось необыкновенно нежным и мягким: движения, кудрявые волосы, взгляд, бархатная куртка.

– Здравствуй, папа! – сказал он мягким голосом, полезая к отцу на колени и быстро целуя его в шею. – Ты меня звал?

– Позвольте, позвольте, Сергей Евгеньич, – ответил прокурор, отстраняя его от себя. – Прежде чем целоваться, нам нужно поговорить, и поговорить серьезно... Я на тебя сердит и больше тебя не люблю. Так и знай, братец: я тебя не люблю, и ты мне не сын... Да.

Сережа пристально поглядел на отца, потом перевел взгляд на стол и пожал плечами.

– Что же я тебе сделал? – спросил он в недоумении, моргая глазами. – Я сегодня у тебя в кабинете ни разу не был и ничего не трогал.

– Сейчас Наталья Семеновна жаловалась мне, что ты куришь... Это правда? Ты куришь?

– Да, я раз курил... Это верно!..

– Вот видишь, ты еще и лжешь вдобавок, – сказал прокурор, хмурясь и тем маскируя свою улыбку. – Наталья Семеновна два раза видела, как ты курил. Значит, ты уличен в трех нехороших поступках: куришь, берешь из стола чужой табак и лжешь. Три вины!

– Ах, да-а! – вспомнил Сережа, и глаза его улыбнулись. –

Это верно, верно! Я два раза курил: сегодня и прежде.

– Вот видишь, значит не раз, а два раза... Я очень, очень тобой недоволен! Прежде ты был хорошим мальчиком, но теперь, я вижу, испортился и стал плохим.

Евгений Петрович поправил на Сереже воротничок и подумал:

«Что же еще сказать ему?»

– Да, нехорошо, – продолжал он. – Я от тебя не ожидал этого. Во-первых, ты не имеешь права брать табак, который тебе не принадлежит. Каждый человек имеет право пользоваться только своим собственным добром, ежели же он берет чужое, то... он нехороший человек! («Не то я ему говорю!» – подумал Евгений Петрович.) Например, у Натальи Семеновны есть сундук с платьями. Это ее сундук, и мы, то есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда? У тебя есть лошадки и картинки... Ведь я их не беру? Может быть, я и хотел бы их взять, но... ведь они не мои, а твои!

– Возьми, если хочешь! – сказал Сережа, подняв брови. – Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего... Пусть себе стоит!

– Ты меня не понимаешь, – сказал Быковский. – Собачку ты мне подарил, она теперь моя, и я могу делать с ней все, что хочу; но ведь табаку я не дарил тебе! Табак мой! («Не так я ему объясняю! – подумал прокурор. – Не то! Совсем не то!») Если мне хочется курить чужой табак, то я, прежде все-

го, должен попросить позволения...

Лениво цепляя фразу к фразе и подделываясь под детский язык, Быковский стал объяснять сыну, что значит собственность. Сережа глядел ему в грудь и внимательно слушал (он любил по вечерам беседовать с отцом), потом облокотился о край стола и начал щурить свои близорукие глаза на бумаги и чернильницу. Взгляд его поблуждал по столу и остановился на флаконе с гуммиарабиком.

– Папа, из чего делается клей? – вдруг спросил он, поднося флакон к глазам.

Быковский взял из его рук флакон, поставил на место и продолжал:

– Во-вторых, ты куришь... Это очень нехорошо! Если я курю, то из этого еще не следует, что курить можно. Я курю и знаю, что это неумно, браню и не люблю себя за это... («Хитрый я педагог!» – подумал прокурор.) Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, умирает раньше, чем следует. Особенно же вредно курить таким маленьким, как ты. У тебя грудь слабая, ты еще не окреп, а у слабых людей табачный дым производит чахотку и другие болезни. Вот дядя Игнатий умер от чахотки. Если бы он не курил, то, быть может, жил бы до сегодня.

Сережа задумчиво поглядел на лампу, потрогал пальцем абажур и вздохнул.

– Дядя Игнатий хорошо играл на скрипке! – сказал он. – Его скрипка теперь у Григорьевых!

Сережа опять облокотился о край стола и задумался. На бледном лице его застыло такое выражение, как будто он прислушивался или же следил за развитием собственных мыслей; печаль и что-то похожее на испуг показались в его больших, немигающих глазах. Вероятно, он думал теперь о смерти, которая так недавно взяла к себе его мать и дядю Игнатия. Смерть уносит на тот свет матерей и дядей, а их дети и скрипки остаются на земле. Покойники живут на небе где-то около звезд и глядят оттуда на землю. Выносят ли они разлуку?

«Что я ему скажу? – думал Евгений Петрович. – Он меня не слушает. Очевидно, он не считает важными ни своих проступков, ни моих доводов. Как втолковать ему?»

Прокурор поднялся и заходил по кабинету.

«Прежде, в мое время, эти вопросы решались замечательно просто, – размышлял он. – Всякого мальчугу, уличенного в курении, секли. Малодушные и трусы, действительно, бросали курить, кто же похрабрее и умнее, тот после порки начинал табак носить в голенище, а курить в сарае. Когда его ловили в сарае и опять пороли, он уходил курить на реку... и так далее, до тех пор, пока малый не выросстал. Моя мать, чтобы я не курил, задаривала меня деньгами и конфетами. Теперь же эти средства представляются ничтожными и безнравственными. Становясь на почву логики, современный педагог старается, чтобы ребенок воспринимал добрые начала не из страха, не из желания отличиться или получить

награду, а сознательно».

Пока он ходил и думал, Сережа взобрался с ногами на стул сбоку стола и начал рисовать. Чтобы он не пачкал деловых бумаг и не трогал чернил, на столе лежала пачка четвертух, нарезанных нарочно для него, и синий карандаш.

– Сегодня кухарка шинковала капусту и обрезала себе палец, – сказал он, рисуя домик и двигая бровями. – Она так крикнула, что мы все перепугались и побежали в кухню. Такая глупая! Наталья Семеновна велит ей мочить палец в холодную воду, а она его сосет... И как она может грязный палец брать в рот! Папа, ведь это неприлично!

Дальше он рассказал, что во время обеда во двор заходил шарманщик с девочкой, которая пела и плясала под музыку.

«У него свое течение мыслей! – думал прокурор. – У него в голове свой мирок, и он по-своему знает, что важно и не важно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер. Он отлично бы понял меня, если бы мне в самом деле было жаль табаку, если бы я обиделся, заплакал... Потому-то матери незаменимы при воспитании, что они умеют заодно с ребятами чувствовать, плакать, хохотать... Логикой же и моралью ничего не поделаешь. Ну, что я ему еще скажу? Что?»

И Евгению Петровичу казалось странным и смешным, что он, опытный правовед, полжизни упражнявшийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях,

решительно терялся и не знал, что сказать мальчику.

– Послушай, дай мне честное слово, что ты больше не будешь курить, – сказал он.

– Че-естное слово! – запел Сережа, сильно надавливая карандаш и нагибаясь к рисунку. – Че-естное сло-во! Во! во!

«А знает ли он, что значит честное слово? – спросил себя Быковский. – Нет, плохой я наставник! Если бы кто-нибудь из педагогов или из наших судейских заглянул сейчас ко мне в голову, то назвал бы меня тряпкой и, пожалуй, заподозрил бы в излишнем мудровании... Но ведь в школе и в суде все эти канальские вопросы решаются гораздо проще, чем дома; тут имеешь дело с людьми, которых без ума любишь, а любовь требовательна и осложняет вопрос. Если бы этот мальчишка был не сыном, а моим учеником или подсудимым, я не трусил бы так и мои мысли не разбегались бы!..»

Евгений Петрович сел за стол и потянул к себе один из рисунков Сережи. На этом рисунке был изображен дом с кривой крышей и с дымом, который, как молния, зигзагами шел из труб до самого края четвертухи; возле дома стоял солдат с точками вместо глаз и со штыком, похожим на цифру 4.

– Человек не может быть выше дома, – сказал прокурор. – Погляди: у тебя крыша приходится по плечо солдату.

Сережа полез на его колени и долго двигался, чтобы усесться поудобней.

– Нет, папа! – сказал он, посмотрев на свой рисунок. – Если ты нарисуешь солдата маленьким, то у него не будет

видно глаз.

Нужно ли было оспаривать его? Из ежедневных наблюдений над сыном прокурор убедился, что у детей, как у дикарей, свои художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные пониманию взрослых. При внимательном наблюдении, взрослому Сережа мог показаться ненормальным. Он находил возможным и разумным рисовать людей выше домов, передавать карандашом, кроме предметов, и свои ощущения. Так, звуки оркестра он изображал в виде сферических, дымчатых пятен, свист – в виде спиральной нити... В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так что, раскрашивая буквы, он всякий раз неизменно звук Л красил в желтый цвет, М – в красный, А – в черный и т. д.

Бросив рисунок, Сережа еще раз подвигался, принял удобную позу и занялся отцовской бородой. Сначала он старательно разгладил ее, потом раздвоил и стал зачесывать ее в виде бакенов.

– Теперь ты похож на Ивана Степановича, – бормотал он, – а вот сейчас будешь похож... на нашего швейцара. Папа, зачем это швейцары стоят около дверей? Чтоб воров не пускать?

Прокурор чувствовал на лице его дыхание, то и дело касался щекой его волос, и на душе у него становилось тепло и мягко, так мягко, как будто не одни руки, а вся душа его лежала на бархате Сережиной куртки. Он заглядывал в боль-

шие, темные глаза мальчика, и ему казалось, что из широких зрачков глядели на него и мать, и жена, и все, что он любил когда-либо.

«Вот тут и пори его... – думал он. – Вот тут и изволь измышлять наказания! Нет, куда уж нам в воспитатели лезть. Прежде люди просты были, меньше думали, потому и вопросы решали храбро. А мы думаем слишком много, логика нас заела... Чем развитее человек, чем больше он размышляет и вдается в тонкости, тем он нерешительнее, мнительнее и тем с большею робостью приступает к делу. В самом деле, если поглубже вдуматься, сколько надо иметь храбрости и веры в себя, чтобы браться учить, судить, сочинять толстую книгу...»

Пробило десять часов.

– Ну, мальчик, спать пора, – сказал прокурор. – Прощайся и иди.

– Нет, папа, – поморщился Сережа, – я еще посижу. Расскажи мне что-нибудь! Расскажи сказку.

– Изволь, только после сказки – сейчас же спать.

В свободные вечера Евгений Петрович имел обыкновение рассказывать Сереже сказки. Как и большинство деловых людей, он не знал наизусть ни одного стихотворения и не помнил ни одной сказки, так что всякий раз ему приходилось импровизировать. Обыкновенно он начинал с шаблона «В некотором царстве, в некотором государстве», далее громоздил всякий невинный вздор и, рассказывая нача-

ло, совсем не знал, каковы будут середина и конец. Картины, лица и положения брались наудачу, экспромтом, а фабула и мораль вытекали как-то сами собой, помимо воли рассказчика. Сережа очень любил такие импровизации, и прокурор замечал, что чем скромнее и незатейливее выходила фабула, тем сильнее она действовала на мальчика.

– Слушай, – начал он, поднимая глаза к потолку. – В некотором царстве, в некотором государстве жил-был себе старый, престарелый царь с длинной седой бородой и... и с такими усищами. Ну-с, жил он в стеклянном дворце, который сверкал и сиял на солнце, как большой кусок чистого льда. Дворец же, братец ты мой, стоял в громадном саду, где, знаешь, росли апельсины... бергамоты, черешни... цвели тюльпаны, розы, ландыши, пели разноцветные птицы... Да... На деревьях висели стеклянные колокольчики, которые, когда дул ветер, звучали так нежно, что можно было заслушаться. Стекло дает более мягкий и нежный звук, чем металл... Ну-с, что же еще? В саду били фонтаны... Помнишь, ты видел на даче у тети Сони фонтан? Вот точно такие же фонтаны стояли в царском саду, но только в гораздо больших размерах, и струя воды достигала верхушки самого высокого тополя.

Евгений Петрович подумал и продолжал:

– У старого царя был единственный сын и наследник царства – мальчик, такой же маленький, как ты. Это был хороший мальчик. Он никогда не капризничал, рано ложился

спать, ничего не трогал на столе и... и вообще был умница. Один только был у него недостаток – он курил...

Сережа напряженно слушал и, не мигая, глядел отцу в глаза. Прокурор продолжал и думал: «Что же дальше?» Он долго, как говорится, размазывал да жевал и кончил так:

– От курения царевич заболел чахоткой и умер, когда ему было 20 лет. Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Некому было управлять государством и защищать дворец. Пришли неприятели, убили старика, разрушили дворец, и уж в саду теперь нет ни черешен, ни птиц, ни колокольчиков... Так-то, братец...

Такой конец самому Евгению Петровичу казался смешным и наивным, но на Сережу вся сказка произвела сильное впечатление. Опять его глаза подернулись печалью и чем-то похожим на испуг; минуту он глядел задумчиво на темное окно, вздрогнул и сказал упавшим голосом:

– Не буду я больше курить...

Когда он простился и ушел спать, его отец тихо ходил из угла в угол и улыбался.

«Скажут, что тут подействовала красота, художественная форма, – размышлял он, – пусть так, но это не утешительно. Все-таки это не настоящее средство... Почему мораль и истина должны подноситься не в сыром виде, а с примесями, непременно в обсахаренном и позолоченном виде, как пилюли? Это ненормально... Фальсификация, обман... фокусы...»

Вспомнил он присяжных заседателей, которым непременно нужно говорить «речь», публику, усваивающую историю только по былинам и историческим романам, себя самого, почерпавшего житейский смысл не из проповедей и законов, а из басен, романов, стихов...

«Лекарство должно быть сладкое, истина красивая... И эту блажь напустил на себя человек со времен Адама... Впрочем... быть может, все это естественно и так и быть должно... Мало ли в природе целесообразных обманов, иллюзий...»

Он принялся работать, а ленивые, домашние мысли долго еще бродили в его голове. За потолком не слышались уже гаммы, но обитатель второго этажа все еще шагал из угла в угол...

Тайный советник

В начале апреля 1870 года моя матушка Клавдия Архиповна, вдова поручика, получила из Петербурга, от своего брата Ивана, тайного советника, письмо, в котором, между прочим, было написано: «Болезнь печени вынуждает меня каждое лето жить за границей, а так как в настоящее время у меня нет свободных денег для поездки в Мариенбад, то весьма возможно, что этим летом я буду жить у тебя в твоей Кочуевке, дорогая сестра...»

Прочитав письмо, моя матушка побледнела и затряслась всем телом, потом на лице ее появилось выражение смеха и плача. Она заплакала и засмеялась. Эта борьба плача со смехом всегда напоминает мне мельканье и треск ярко горящей свечи, когда на нее брызжут водой. Прочитав письмо еще раз, матушка созвала всех домочадцев и прерывающимся от волнения голосом стала объяснять нам, что всех братьев Гундасовых было четверо: один Гундасов помер еще младенцем, другой пошел по военной и тоже помер, третий, не в обиду будь ему сказано, актер, четвертый же...

– До четвертого рукой не достанешь, – всхлипывала матушка. – Родной мне брат, вместе росли, а я вся дрожу и дрожу... Ведь тайный советник, генерал! Как я его, ангела моего, встречу? О чем я, дура необразованная, разговаривать с ним стану? Пятнадцать лет его не видала! Андрюшенька, –

обратилась ко мне матушка, – радуйся, дурачок! Это на твое счастье Бог его посылает!

После того, как мы узнали самую подробную историю Гундасовых, в усадьбе поднялась суматоха, какую я привык видеть только перед Святками. Были пощажены только небесный свод и вода в реке, все же остальное подверглось чистке, мытью и окраске. Если бы небо было ниже и меньше, а река не бежала так быстро, то и их бы поскребли кирпичом и потеряли мочалкой. Стены были белы как снег, но их побелили; полы сияли и лоснились, но их мыли каждый день. Кота Куцего (в бытность мою младенцем я ножом, которым колют сахар, отхватил ему добрую четверть хвоста, отчего он и получил прозвище Куцего) отнесли из хором в кухню и отдали под начало Анисьи; Федьке сказано было, что если собаки будут подходить близко к крыльцу, то его «Бог накажет». Но никому так не доставалось, как бедным диванам, креслам и коврам! Никогда в другое время их не били так сильно палками, как теперь, в ожидании гостя. Мои голуби, слыша палочные удары, тревожились и то и дело взлетали к самому небу.

Приходил из Новостроевки портной Спиридон, единственный во всем уезде портной, дерзавший шить на господ. Это был человек непьющий, работающий и способный, не лишенный некоторой фантазии и чувства пластики, но, тем не менее, шивший отвратительно. Все дело портили сомнения... Мысль, что он шьет недостаточно модно, застав-

ляла его переделывать каждую вещь по пяти раз, ходить пешком в город специально за тем только, чтобы изучать франтов и в конце концов одевать нас в костюмы, которые даже карикатурист назвал бы утрировкой и шаржем. Мы щеголяли в невозможно узких брюках и в таких коротких пиджаках, что в присутствии барышень нам всегда становилось совестно.

Этот Спиридон долго снимал с меня мерку. Он вымерил всего меня вдоль и поперек, точно собирался обить меня обручами, что-то долго записывал на бумажке толстым карандашом и всю свою мерку иззубрил треугольными значками. Покончив со мной, он принялся за моего учителя Егора Алексеевича Победимского. Мой незабвенный учитель находился тогда в поре, когда люди следят за ростом своих усов и относятся критически к платью, а потому можете себе представить священный ужас, с каким Спиридон приступил к моему учителю! Егор Алексеевич должен был откинуть назад голову и расставить ноги в виде опрокинутой ижицы, то поднимать руки, то опускать. Спиридон вымерял его несколько раз, для чего ходил вокруг него, как влюбленный голубь около голубки, становился на одно колено, изгибался крючком... Моя матушка, томная, замученная хлопотами и угоревшая от утюгов, глядела на всю эту длинную процедуру и говорила:

– Смотри же, Спиридон, Бог с тебя взыщет, если сукно испортишь! И счастья тебе не будет, коли не потрафишь!

От слов матушки Спиридона бросало то в жар, то в пот, потому что он был уверен, что не потрафит. За шитье моего костюма он взял 1 руб. 20 коп., а за костюм Победимского 2 руб., причем сукно, подкладка и пуговицы были наши. Это не может показаться дорого, тем более, что от Новостроевки до нас было девять верст, а портной приходил для примерки раза четыре. Когда мы, примеряя, натягивали на себя узкие брюки и пиджаки, испещренные живыми нитками, матушка всякий раз брезгливо морщилась и удивлялась:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.